

# W. SOMERSET MAUGHAM

Сомерсет Моэм

ПИРОГИ И ПИВО,  
или СКЕЛЕТ В ШКАФУ



Сомерсет Моэм

**Пироги и пиво, или  
Скелет в шкафу**

«АСТ»

1930

УДК 821.111-31  
ББК 84 (4Вел)-44

**Моэм С.**

Пироги и пиво, или Скелет в шкафу / С. Моэм — «АСТ», 1930

ISBN 978-5-17-081844-0

Роман «Пироги и пиво, или Скелет в шкафу» – это история жизни знаменитого английского писателя Эдуарда Дриффилда, увиденная глазами молодого человека. Его взросление вплетается в историю творческого успеха Дриффилда. Писательская среда, с ее тайнами, притягивает юношу, приносит первый жизненный опыт и первые разочарования и позволяет понять, что любое творчество вырастает из жизненного «сора» человеческой судьбы, но только талант способен превратить этот «сор» в творение.

УДК 821.111-31  
ББК 84 (4Вел)-44

ISBN 978-5-17-081844-0

© Моэм С., 1930  
© АСТ, 1930

## Содержание

Предисловие автора	6
I	9
II	16
III	23
IV	27
Конец ознакомительного фрагмента.	33

# **Сомерсет Моэм Пироги и пиво, или Скелет в шкафу**

W. Somerset Maugham

CAKES AND ALE, OR THE SKELETON IN THE CUPBOARD

Печатается с разрешения The Royal Literary Fund и литературных агентств AP Watt Limited и Synopsis.

Серия «Моэм – автор на все времена»

© The Royal Literary Fund, 1930

© Перевод. А. Иорданский, наследники, 2013

© Издание на русском языке AST Publishers, 2014

\* \* \*

## Предисловие автора

Этот роман я сначала задумал как рассказ, и к тому же не очень длинный. Вот какую запись я сделал, когда появился его замысел: «Меня просят написать, воспоминания о знаменитом романисте, друге моего детства, живущем в У. с женой, заурядной женщиной, отнюдь не сохраняющей ему верности. Там он пишет свои великие произведения. Позже он женится на своей секретарше, которая с ним нянчится и делает из него выдающуюся личность. Мои размышления о том, не вызывает ли у него даже в преклонном возрасте некоторого беспокойства то, что его превращают в монумент».

В то время я писал серию рассказов для журнала «Космополитен». Согласно контракту, каждый из них должен был иметь размер от 1200 до 1500 слов, чтобы вместе с картинкой занимать не больше полосы журнала. Иногда я давал себе волю – тогда картинка переходила на противоположную полосу, и мне освобождалось еще немного места. Я решил, что этот сюжет пригодится для такой цели, и держал его в запасе.

Но образ Розы я вынашивал уже давно. Многие годы я хотел о ней написать, но для этого все не представлялось удобного случая. Я никак не мог изобрести такую ситуацию, в которой для нее нашлось бы подходящее место, и уже начал было думать, что из этого так ничего и не получится. Да и не очень я об этом жалел. Персонаж, живущий в голове автора, еще не написанный, остается в полной его власти; мысли автора постоянно к нему возвращаются, воображение понемногу его обогащает, и все это время автор испытывает своеобразное наслаждение от того, что там, у него в голове, живет разнообразной и трепетной жизнью некто покорный капризам его фантазии и в то же время каким-то странным образом наделенный собственной, от него не зависящей волей. Но как только образ перенесен на бумагу, он больше не принадлежит писателю. Он забыт. Просто удивительно, насколько безвозвратно перестает после этого существовать личность, которая на протяжении, может быть, многих лет занимала ваши мысли.

И вдруг мне пришло в голову, что в моем наброске есть тот самый подходящий для этого персонажа фон, который я искал. Сделаю-ка я ее женой моего знаменитого романиста! Я понял, что такой сюжет мне никак не втиснуть и в две тысячи слов, и поэтому решил немного повременить и воспользоваться этим материалом для одного из рассказов подлиннее, на 14–15 тысяч слов, с которыми, начиная с «Дождя», я не без успеха выступал. Но чем больше я размышлял, тем меньше мне хотелось потратить свою Розу даже на такой рассказ. На меня нахлынули старые воспоминания. Я понял, что сказал еще далеко не все, что хотел, о городке У. из своего наброска, который в «Бремени страстей человеческих» назвал Блэкстеблом. Почему бы теперь спустя столько лет не подойти ближе к подлинным фактам? Так дядя Уильям, священник из Блэкстебла, и его жена Изабелла превратились в приходского священника дядю Генри и его жену Софи. А Филип Кэри из той, ранней, книги в «Пирогах и пиве» стал «мною».

Когда книга вышла, она навлекла на меня с разных сторон обвинения в том, будто под именем Эдуарда Дриффилда я изобразил Томаса Гарди. Но я такого намерения не имел. Гарди подразумевался мной не в большей степени, чем Джордж Мередит или Анатоль Франс. Как видно из того первого наброска, моя мысль состояла в том, что преклонение, окружающее писателя, когда он находится на склоне лет и на вершине славы, должно быть, раздражает в нем ту живую искорку духа, которая все еще сохранила способность откликаться на полеты его фантазии. Я подумал, что ему, наверное, приходит в голову множество странных, беспокойных дум, хотя внешне он хранит то достоинство, какого требуют от него почитатели.

Когда я в восемнадцатилетнем возрасте прочитал «Тэсс из рода д'Эрбервиллей», я пришел в такой восторг, что твердо решил жениться на молочнице; но другие книги Гарди не производили на меня такого сильного впечатления, как на большинство моих современников, и я

не считал его таким уж блестящим стилистом. Он никогда не интересовал меня так, как одно время Джордж Мередит, а позже – Анатоль Франс. Биографию Гарди я знал плохо. Да и теперь я знаю ее лишь настолько, чтобы с уверенностью утверждать: совпадения между ней и жизнью Эдуарда Дрифилда очень незначительны. Они сводятся только к тому, что оба начинали в бедности и оба были женаты дважды.

Встречался с Томасом Гарди я всего один раз. Это было на обеде у леди Сент-Хельер, более известной в светском обществе того времени под именем леди Жен. Она, хотя и жила в гораздо более чопорном мире, чем нынешний, любила приглашать к себе каждого, кто так или иначе привлек внимание публики. А я был тогда популярным и модным драматургом. Это был один из тех пышных обедов, какие устраивались до войны, – с множеством блюд, с супом и бульоном, рыбой, несколькими горячими закусками, шербетом (чтобы гости могли перевести дух); жарким, дичью, десертом, мороженым и сладким. За столом сидело двадцать четыре человека, и каждый из них был персона, чем-нибудь выдающаяся: или почетным титулом, или положением в обществе, или своим вкладом в искусство. Когда дамы удалились в гостиную, моим соседом оказался Томас Гарди. Помню, это был маленький человечек с грубыми чертами лица. Одетый во фрак и крахмальную рубашку со стоячим воротничком, он все равно чем-то странно напоминал о земле. Он был любезен и учтив. Меня тогда поразила в нем какая-то любопытная смесь застенчивости и самоуверенности. Не помню, о чем мы говорили, но знаю, что разговор продолжался три четверти часа. Под конец он удостоил меня большого комплимента – спросил (не слышав раньше моего имени), чем я занимаюсь.

Говорят, что в образе Элроя Кира два-три писателя нашли намек на себя. Но они ошиблись. Этот персонаж – собирательный: от одного писателя я взял внешность, от другого – тягу к хорошему обществу, от третьего – сердечность, от четвертого – гордость своей спортивной удачей, и вдобавок довольно много – от себя самого. Дело в том, что я обладаю незавидной способностью сознавать свою собственную наивность и нахожу в себе много достойного осмеяния. Думаю, именно поэтому (если верить всему, что я часто о себе слышу и читаю) я вижу людей в не столь лестном свете, как многие авторы, таким злополучным свойством не обладающие. Ведь все образы, которые мы создаем, – это лишь копии с нас самих. Конечно, не исключено, что другие писатели и в самом деле благороднее, бескорыстнее, добродетельнее и возвышеннее меня. В таком случае естественно, что они, будучи сами ангелами во плоти, создают своих героев по собственному образу и подобию.

Когда же я захотел нарисовать портрет писателя, который пользуется любыми средствами, чтобы разрекламировать свои книги и обеспечить им сбыт, мне не нужно было приглядываться к какому-то определенному человеку: это слишком обычное явление. К тому же оно не может не вызывать сочувствия. Каждый год остаются незамеченными сотни книг, многие из которых обладают большими достоинствами. Автор каждой такой книги писал ее много месяцев, а думал о ней, может быть, много лет; он вложил в нее какую-то часть самого себя, которой он после этого уже навсегда лишился. Сердце разрывается, когда думаешь, как велика вероятность, что эта книга потеряется в потоке произведений, загромождающих столы критиков и обременяющих полки книжных лавок. Ничего нет противоестественного в том, что автор пользуется для привлечения внимания публики любыми доступными ему средствами. Что именно следует для этого делать, его учит опыт. Он должен превратиться в общественного деятеля; он должен постоянно находиться в поле зрения. Он должен давать интервью и добиваться, чтобы его фотографии печатали в газетах. Он должен писать письма в «Таймс», выступать на митингах и заниматься социальными проблемами; он должен произносить послеобеденные речи; он должен высказываться о книгах, которые рекламируют издатели; и он должен неукоснительно появляться там, где нужно, в те моменты, когда нужно. Он не должен допускать, чтобы о нем забыли. Это нелегкая и беспокойная работа, ибо ошибка может дорого ему

обойтись. Было бы жестоко не сочувствовать автору, прилагающему такие усилия, чтобы уговорить мир прочесть книгу, которую он искренне считает этого достойной.

Есть лишь один вид рекламы, который я презираю, – это вечера, устраиваемые по выходе книги. Автор обеспечивает присутствие на таком вечере фотографа, приглашает светских хроникеров и всех выдающихся людей, с которыми знаком. Хроникеры, по крайней мере, хоть уделяют ему абзац в своих статьях, а фотографии печатаются в иллюстрированных журналах – выдающиеся же люди приходят только за тем, чтобы получить даром экземпляр книги с автографом. Этот позорный обычай не становится менее предусмотрительным в тех случаях, когда предполагается (иногда, несомненно, справедливо), что вечер устроен за счет издателя. Когда я писал «Пирог и пиво», такие вечера еще не вошли в моду, а они могли бы дать мне материал еще для одной яркой главы.



## I

Я заметил, что, когда кто-нибудь звонит вам по телефону и, не застав вас дома, просит передать, чтобы вы немедленно, как только придете, позвонили ему по важному делу, дело это обычно оказывается важным не столько для вас, сколько для него. В тех случаях, когда речь идет о том, чтобы сделать вам подарок или оказать услугу, большинство людей способно взять себя в руки и не проявлять чрезмерного нетерпения. Поэтому когда я пришел домой как раз вовремя, чтобы успеть выпить рюмочку, покурить, прочитав газету и одеться к обеду, и узнал от своей квартирной хозяйки мисс Феллоуз, что меня просил немедленно позвонить мистер Элрой Кир, то я решил, что вполне могу пренебречь его просьбой.

– Это не тот писатель? – спросила она.

– Он самый.

Она ласково взглянула на телефон.

– Соединить вас с ним?

– Нет, спасибо.

– А что сказать, если он опять будет звонить?

– Спросите его, что мне передать.

– Хорошо, сэр.

Мисс Феллоуз осталась недовольна. Она захватила пустой сифон, окинула взглядом комнату, чтобы удостовериться, все ли в порядке, и вышла. Мисс Феллоуз – большая любительница литературы. Я не сомневаюсь, что она прочла все книги, написанные Роем. И была от них в восторге – об этом свидетельствовало то, что она явно не одобрила мое пренебрежение к его звонку.

Вернувшись домой снова, я нашел на буфете записку, написанную ее крупным, разборчивым почерком: «Мистер Кир звонил два раза. Не можете ли вы завтра с ним пообедать? Если нет, то какой день был бы вам удобен?»

Я удивленно поднял брови. В последний раз я виделся с Роем три месяца назад, да и то всего каких-нибудь несколько минут на одном званом обеде. Он был, как всегда, очень дружелюбен и, когда мы расставались, выразил сожаление, что мы так редко видимся.

– Ужасное место этот Лондон, – сказал он. – Вечно не хватает времени повидать тех, кого хочется. Давайте на будущей неделе как-нибудь вместе пообедаем, а?

– С удовольствием, – ответил я.

– Я загляну в свою записную книжку, как приеду домой, и позвоню вам.

– Ладно.

Я знаком с Роем уже двадцать лет и знаю, что маленькая записная книжка, куда он записывает все назначенные свидания, всегда у него с собой, в верхнем левом кармане жилета. Поэтому я не удивился, так и не дождавшись его звонка. И теперь я никак не мог заставить себя поверить, что он бескорыстно стремится проявить гостеприимство. Курая трубку перед сном, я перебирал возможные причины, по которым Рою могло понадобиться, чтобы я с ним пообедал. Может быть, какая-нибудь его поклонница пристала к нему с просьбой познакомить ее со мной; может быть, эту встречу просил организовать приехавший на несколько дней в Лондон американский издатель. Но я был бы несправедлив к своему старому приятелю, если бы подумал, что у него не хватит изобретательности выкрутиться. Кроме того, он просил назначить день по моему выбору, а значит, вряд ли собирался с кем-то меня свести.

Никто не может лучше Роя проявить самую искреннюю сердечность по отношению к собрату-писателю, чье имя у всех на устах; и никто не может столь же добродушно отвернуться от него, когда бездеятельность, неудача или чужой успех затмевают его славу. У всякого писателя бывают взлеты и падения, и я прекрасно сознавал, что в тот момент не находился в цен-

тре внимания публики. Очевидно, я мог бы найти повод вежливо отклонить приглашение Роя, хотя он человек решительный, и если бы ему для каких-то своих целей понадобилось встретиться со мной, то остановить его можно было бы, только недвусмысленно послав к черту. Но меня одолело любопытство. Кроме того, я питаю к Рою самые теплые чувства.

Я с восхищением следил за его успехами в литературном мире. Его карьера могла бы служить образцом для любого начинающего писателя. Не припомню ни одного из своих современников, кто добился бы такого значительного положения с таким небольшим талантом. Талант Роя, как умеренная доза лекарства, мог бы уместиться в одной столовой ложке. Он прекрасно это понимал, и временами ему, должно быть, казалось почти чудом, что он ухитрился сочинить уже около тридцати книг. Я не могу не предположить, что он впервые прозрел, прочитав, что гениальность, как сказал однажды в послеобеденной речи Томас Карлайл, – не что иное, как бесконечная работоспособность. Это запало ему в голову. «Если все дело в этом, – сказал, вероятно, он себе, – то и я могу быть гением не хуже других». И когда один экзальтированный критик на страницах дамского журнала впервые назвал его гением (а в последнее время критики делают это все чаще), он, наверное, удовлетворенно вздохнул, как человек, после многочасовых стараний решивший кроссворд. Ни один из тех, кто многие годы был свидетелем его неустанного труда, не может отрицать, что право на гениальность он, во всяком случае, заработал.

Свой жизненный путь Рой начал при довольно благоприятных обстоятельствах. Он был единственный сын государственного деятеля, который, прослужив много лет в колониальной администрации Гонконга, закончил свою карьеру губернатором Ямайки. Отыскав Элроя Кира на убогих страницах справочника «Кто есть кто», вы могли бы прочесть: «Един. с. сэра Реймонда Кира (см.), КОМГ<sup>1</sup>, КОВ<sup>2</sup>, и Эмили, мл. доч. покойного генерал-майора Перси Кэмперауна (Индийская армия)».

Образование Рой получил в Винчестере и в Новом колледже Оксфорда. Он был президентом студенческого общества, и если бы, к несчастью, не заболел корью, то вполне мог бы войти в университетскую команду на ежегодных лодочных гонках. Годы учения он провел без особого блеска, но зато вполне добропорядочно и долгов к окончанию университета не имел. Даже тогда он отличался бережливостью, не проявлял склонности сорить деньгами и был примерным сыном. Он знал, что его родители многим пожертвовали, чтобы дать ему такое дорогостоящее образование. Отец его, выйдя в отставку, жил в скромном, но вполне приличном доме близ Струда, в Глостершире, и время от времени приезжал в Лондон, чтобы присутствовать на парадных обедах, имевших отношение к колониям, которыми он когда-то управлял. В таких случаях он обычно заходил в клуб «Атенеум», где состоял членом. Через старого приятеля по клубу он сумел добиться, чтобы Роя по окончании Оксфорда взяли в наставники к сыну одного очень знатного лорда, отличавшемуся слабым здоровьем. Это позволило Рою смолodu познакомиться с высшим светом. Такой возможности он не упустил. В его книгах не найти тех ляпсусов, какие попадаются в произведениях писателей, изучавших жизнь светского общества лишь по иллюстрированным журналам. Он знал, как разговаривают между собой герцоги и как к ним адресуются члены парламента, адвокаты, букмекеры и камердинеры. Есть что-то пленительное в том изяществе, с каким он в своих первых повестях обращается с вице-королями, посланниками, премьер-министрами, членами королевской семьи и высокопоставленными дамами. Он дружелюбен без покровительственности и фамильярен без дерзости. Он не дает вам забыть об их положении, но вместе с вами с удовлетворением сознает, что они созданы из той же плоти, как и каждый из нас. Я всегда жалел, что по приговору моды жизнь аристократии перестала быть подходящей темой для серьезной литературы, и Рой, всегда чут-

---

<sup>1</sup> КОМГ – командир ордена св. Михаила и св. Георгия.

<sup>2</sup> КОВ – командир ордена Виктории.

кий к веяниям времени, вынужден в поздних повестях ограничиваться духовным миром присяжных, поверенных, бухгалтеров и маклеров. В этих кругах он чувствует себя далеко не так свободно.

Я впервые познакомился с ним вскоре после того, он перестал быть наставником и целиком посвятил себя литературе. Тогда это был видный, статный молодой человек шести футов роста, атлетического сложения, с широкими плечами и уверенными движениями. Он был некрасив, но по-мужски приятен на вид, с большими, честными голубыми глазами и волнистыми светло-каштановыми волосами; у него был довольно короткий, широкий нос и квадратный подбородок. Сразу видно – честный, чистый, здоровый человек.

Он много занимался спортом. Прочитав в его ранних книгах такие точные и яркие описания охоты с гончими, нельзя было усомниться в том, что он писал по собственному опыту; до самого последнего времени он, бывало, покидал свой письменный стол, чтобы денек поохотиться. Его первый роман вышел в те времена, когда литераторы, чтобы показать свою мужественность, пили пиво и играли в крикет; и в течение нескольких лет трудно было найти такую литературную команду, где не фигурировало бы его имя. Не знаю почему, но эта литературная школа сейчас утратила былое великолепие, на ее книги не обращают внимания, и, хотя их авторы остались крикетистами, им все труднее печатать свои произведения. Рой уже много лет назад бросил крикет и выработал у себя тонкий вкус к красным сухим винам.

Когда вышла первая повесть Роя, он держался очень скромно. Повесть была невелика, написана добротнo и, как и все, что он писал с тех пор, без единой погрешности против хорошего вкуса. Он послал ее с любезным письмом всем тогдашним ведущим писателям и каждому написал, как он восхищается его произведениями, как много почерпнул, изучая их, и как искренне стремится следовать, пусть на подобающем расстоянии, по пути, проложенному адресатом. Он приносит свою книгу к ногам великого художника как дань уважения со стороны молодого, начинающего литератора к тому, кого он всегда будет считать своим учителем. Умоляя о снисхождении, сознавая, какая с его стороны дерзость – просить столь занятого человека тратить время на жалкие потуги новичка, он все-таки надеется услышать критическое слово и полезные указания.

Лишь немногие из авторов, к которым он обратился, прислали в ответ вежливые отписки. Остальные были польщены и ответили подробно. Книгу они похвалили, а автора многие пригласили на обед. Их не могла не покори́ть такая искренность, не мог не согреть такой энтузиазм. Он просил их совета с трогательным смирением и обещал последовать ему с внушающей доверие непосредственностью. Вот человек, почувствовали они, на которого стоит потратить кое-какие усилия.

Повесть имела значительный успех. Она принесла ему обширные знакомства в литературных кругах, и вскоре ни одно парадное чаепитие в Блумсбери, Кэмден-Хилле или Вестминстере не обходилось без Роя, передающего бутерброды или поспешающего на помощь пожилой леди, чтобы взять у нее пустую чашку. Он был так молод, весел, прям, так заразительно смеялся чужим шуткам, что не мог не нравиться. Он вступил в обеденные клубы, члены которых – литераторы, молодые адвокаты и дамы в ярких платьях, увешанные бусами, – собирались в отелях Виктория-стрит или Холборна, чтобы съесть обед за три с половиной шиллинга и поговорить об искусстве и литературе. Скоро у него обнаружились немалые способности к произнесению послеобеденных речей. Он был так мил, что собратья-писатели, его современники и соперники, простили ему даже благородное происхождение. Он не скупился на похвалы их незрелым произведениям, а получая на отзыв рукопись, никогда не находил в ней недостатков. Все решили, что он не просто славный парень, но и хороший ценитель литературы.

Рой написал вторую повесть. Он очень старался и не пренебрег советами, полученными от старших собратьев по ремеслу. Было лишь справедливо, что многие из них по его просьбе написали рецензии для газет, с редакторами которых договорился Рой, и было лишь есте-

ственно, что рецензии оказались лестными. Повесть имела успех, но не такой, чтобы возбудить у его соперников ревнивые чувства. Наоборот, она подтвердила их подозрение, что он звезд с неба не хватает. Он был отличный парень, ничуть не чванился, и каждый с удовольствием помогал человеку, который никогда не поднимется так высоко, чтобы стать помехой ему самому. Я знаю, что кое-кто теперь горько улыбается, размышляя о своей ошибке.

Но когда говорят, что слава вскружила Рою голову, это неправда. Рой не утратил той скромности, которая в молодости была самой привлекательной его чертой.

– Я знаю, что я не великий писатель, – говорит он. – В сравнении с гигантами я просто не существую. Я думал, что когда-нибудь напишу действительно великую вещь, но уже давно перестал об этом даже мечтать. Я только хочу, чтобы обо мне говорили: он делает все, на что способен. Я тружусь. Я не позволяю себе никакой небрежности. По-моему, я хорошо умею строить сюжет, могу создавать героев, похожих на живых людей. Ну и, в конце концов, все проверяется на практике: в Англии было продано тридцать пять тысяч экземпляров «Игольного ушка», а в Америке – восемьдесят тысяч, и за право печатать мою следующую вещь предлагают столько, сколько мне никогда еще не платили.

В конце концов, что, кроме скромности, побуждает его даже сейчас писать рецензентам, благодарить их за похвалу и приглашать на обед? Больше того, когда кто-нибудь резко его критикует – а Рой, особенно с тех пор, как его репутация упрочилась, не раз подвергался очень злобным нападкам, – он, в отличие от большинства из нас, не может просто пожалть плечами, обругать про себя негодяя, которому не понравилась книга, и забыть об этом. Рой посылает критику длинное письмо, рассказывает, как ему жаль, что книга показалась плохой, но что рецензия сама по себе так интересна и, он берет на себя смелость сказать, свидетельствует о таком критическом чутье и вкусе, что он чувствует себя обязанным написать это письмо. Никто более его не стремится совершенствоваться, и он надеется, что еще способен чему-то научиться. Он не хотел бы навязываться, но если у критика нет никаких дел в среду или четверг, то не может ли критик пообедать с ним в «Савое» и объяснить, почему же именно он счел книгу столь плохой?

Никто не может заказать обед лучше Роя, и обычно оказывается, что, проглотив полдюжины устриц и хороший кусок седла молодого барашка, критик проглотил и свои претензии к Рою. Всего лишь справедливо, что, когда выходит следующая книга Роя, критик видит в ней большой шаг вперед.

Одна из трудностей, с которыми приходится сталкиваться в жизни, состоит в том, как быть с людьми, которые когда-то были вашими друзьями, но со временем перестали вас интересоваться. Если положение обеих сторон по-прежнему скромно, то разрыв происходит сам собой и не оставляет никакого следа. Но если один из двоих достиг известности, то дело осложняется. У него множество новых друзей, но старые неумолимы; он очень занят, но они считают, что имеют преимущественное право на его время; если он не бежит по первому их зову, они вздыхают и, пожалв плечами, говорят: «Ну что ж, ты, наверное, не лучше других. Как стал теперь большим человеком, так со мной и видаться не пожелаешь».

Разумеется, именно так он и хотел бы поступить, если бы у него хватило мужества. Но в большинстве случаев мужества не хватает. Он поддается и принимает приглашение на воскресный ужин. Холодный ростбиф оказывается чересчур холодным, сделанным из мороженого австралийского мяса, да еще пережаренным; а уж бургундское... и почему только они называют это бургундским? Неужели они никогда не бывали в Боне и не жили в «Отель-де-ля-пост»? Конечно, приятно поболтать о добром старом времени, когда вы делили в мансарде корку хлеба; но вам становится немного не по себе при мысли том, как недалеко ушла от мансарды комната, в которой вы сидите. Вы успокаиваетесь, когда друг начинает рассказывать про свои книги, которых не покупают, и про свои рассказы, которых не печатают; режиссеры даже не читают его пьес, а когда он сравнивает их с тем, что ставят теперь (тут он бросает на вас

укоряющий взгляд), то это, знаешь ли, просто обидно. Вы смущенно отводите глаза и преувеличиваете собственные неудачи, чтобы он понял, что и вам нелегко живется. Вы как можно пренебрежительнее отзываетесь о собственных произведениях, и вас слегка коробит, когда выясняется, что мнение о них хозяина совпадает с вашими словами. Вы говорите о непостоянстве публики, давая ему возможность утешиться мыслью, что и ваша популярность недолговечна. Он дружески, но строго критикует вас.

«Я не читал твоей последней книги, – говорит он, – но читал предпоследнюю. Забыл, как она называется».

Вы называете ее.

«Я ожидал от нее большего. По-моему, она не так хороша, как те, что ты писал раньше. Ты знаешь, конечно, какая мне больше всех нравится?»

Это не первый такой случай в вашей практике, и вы смело называете самую первую свою книгу. Вам тогда было двадцать лет, книга была бесхитростной и неумелой, и на каждой ее странице запечатлена ваша неопытность.

«Лучше тебе не написать, – говорит он от души, и вы чувствуете, что вся ваша карьера представляет собой долгий путь упадка по сравнению с той, первой, удачей. – Мне все кажется, что ты не совсем оправдал те надежды, которые тогда подавал».

Газовое пламя в камине обжигает вам ноги, но ваши руки холодны как лед. Вы тайком поглядываете на часы и думаете, не обидится ли ваш друг, если вы уйдете в десять. Вы велели шоферу ждать за углом, чтобы машина не стояла у дверей и не оскорбляла своим великолепием бедности друга, но в дверях он говорит:

«Остановка автобуса в конце улицы. Я тебя провожу».

Вы в смущении сознаетесь, что у вас есть машина. Ему кажется очень странным, что она ждет за углом. Вы отвечаете, что это одна из причуд шофера. Когда вы садитесь в машину, друг смотрит на вас со снисходительным превосходством. Вы нервничаете и приглашаете его как-нибудь с вами пообедать. Пообещав прислать ему записку, вы уезжаете, размышляя, не подумает ли он, что вы хвастаете своей шикарной жизнью, если пригласите его в «Кларидж», или что вы скупердяй, если предложите Сохо.

Рой Кир избавлен от подобных переживаний. Если сказать, что он бросал людей, получив от них все, что мог, это прозвучит грубовато; но чтобы выразить то же самое деликатнее, потребуется столько времени и нужно будет так тонко подбирать легкие, игривые намеки и полутона, что поскольку, в сущности, дело обстоит именно так, то этим можно и ограничиться. Большинство из нас, поступив с кем-нибудь нехорошо, сохраняет к нему злобное чувство. Однако ничем не смущаемая душа Роя чужда такой мелочности. Сделав кому-нибудь большую гадость, он способен не питать потом к этому человеку никакой злобы.

«Бедный старина Смит, – говорит он. – Я так его люблю, он просто прелесть. Жаль, что он на меня злится. Я хотел бы что-нибудь для него сделать. Нет, я его уже много лет не видел. Не стоит пытаться поддерживать старую дружбу. Это болезненно для обеих сторон. Ведь человек вырастает из своих старых привязанностей, и тут уж ничего не поделаешь».

Но если он сталкивается с тем же Смитом на каком-нибудь приеме вроде закрытого вернисажа в Королевской академии – никто не может быть более сердечным. Он трясет Смита за руку и говорит, как восхищен встречей. Лицо его сияет. Он источает дружеские чувства, как благодатное солнце – свои лучи. Смит приходит в восторг от такой удивительной сердечности: со стороны Роя было чертовски мило сказать, что он не пожалел бы ничего, лишь бы написать что-нибудь похожее на последнюю книгу Смита.

Если же Рою кажется, что Смит его не видит, он старается отвернуться и смотреть в другую сторону. Однако Смит его видел и остается недоволен тем, что Рой им пренебрег. Смит принимается язвить. Он говорит, что прежде Рой был рад разделить с ним бифштекс в сквер-

ном ресторанчике или провести с ним отпуск в рыбацкой хижине в Сент-Айвсе. Смит говорит, что Рой – предатель. Он говорит, что Рой – сноб. Он говорит, что Рой – лицемер.

Однако в этом Смит не прав. Самая яркая черта Элроя Кира – его искренность. Нельзя лицемерить на протяжении двадцати пяти лет. Лицемерие – самый трудный и утомительный порок из всех, которым человек может предаваться. Оно требует постоянной бдительности и редкой целеустремленности. В нем нельзя упражняться на досуге, как в прелюбодеянии или чревоугодии; оно занимает все ваше время. Лицемерие требует еще и циничного юмора, и, хотя Рой много смеется, я никогда не думал, что чувство юмора у него сильно развито; а уж циником он быть не способен – в этом я уверен. Хотя я дочитал до конца лишь некоторые его книги, но начинал читать многие из них. По-моему, печать искренности лежит на каждой из их многочисленных страниц. Именно это, очевидно, и было главной причиной их устойчивой популярности. Рой всегда искренне верил в то, во что в тот момент верили все остальные. Когда он писал повести об аристократии, он искренне верил, что ее представители развращены и аморальны, но все же им присуще известное благородство и врожденная способность управлять Британской империей. Позже, начав писать о средних классах, он искренне верил, что это хребет нации. Его негодяи всегда были гнусными, герои – возвышенными, а девы – чистыми.

Когда Рой приглашает на обед автора лестной рецензии, то делает это потому, что искренне ему благодарен за доброе мнение; а когда приглашает автора нелестной рецензии, то делает это потому, что искренне стремится исправиться. Когда в Лондон приезжают его неизвестные поклонники из Техаса или Западной Австралии, он водит их по Национальной галерее не только из уважения к своим читателям; он делает это потому, что искренне интересуется впечатлением, которое производит на них искусство.

Чтобы убедиться в его искренности, достаточно послушать, как он читает лекции. Когда он стоит на кафедре, в великолепно сидящем фраке или, если это более уместно, в свободном, не очень новом, но безукоризненно сшитом пиджаке, и серьезно, открыто, но с подкупающей скромностью смотрит на слушателей, нельзя сомневаться, что он относится к своей задаче с полной ответственностью. Хотя время от времени он притворяется, будто не может найти нужное слово, это делается только для того, чтобы оно прозвучало более эффектно. Его голос глубок и мужествен. Он хороший рассказчик и никогда не бывает скучным. Он любит читать лекции о молодых писателях Англии и Америки и разъясняет аудитории их достоинства с жаром, свидетельствующим о его великодушии. Быть может, он говорит даже слишком много, потому что, прослушав его лекцию, вы чувствуете, что уже все о них знаете и что вам вовсе не обязательно читать их книги. Я полагаю, именно поэтому после того, как Рой читает лекцию в каком-нибудь провинциальном городке, никто не покупает ни единой книги тех авторов, о которых он рассказывал, но зато спрос на его собственные всегда повышается.

Его энергия неистожима. Он не только совершал успешные турне по Соединенным Штатам, но и изъездил с лекциями всю Великобританию. Нет такого крохотного клуба или ничтожного кружка самообразования, которым Рой не уделит бы хоть часа. Время от времени он обрабатывает свои лекции и издает их в виде маленьких, аккуратных томиков. Большинство людей, этим интересующихся, по крайней мере, листали его книги «Современные романисты», «Русская литература» и «Некоторые писатели»; и лишь немногие будут отрицать, что в них чувствуется глубокое понимание литературы и личное обаяние автора.

Но этим отнюдь не исчерпывается его деятельность. Он активный член организаций, призванных защищать интересы авторов или облегчать их участь, когда болезнь или старость доводят их до нищеты. Он всегда рад помочь, когда в законодательных органах рассматриваются вопросы авторского права, и всегда готов войти в состав делегаций, посылаемых за границу для установления дружественных отношений между писателями разных стран. На приемах можно рассчитывать на его ответное слово от имени литературы, и он неизменно входит в комиссии для подобающей встречи какой-нибудь заморской литературной знаменитости. Ни

один благотворительный базар не обходится без экземпляра хотя бы одной из его книг с автографом. Он никогда не отказывает в интервью. Он справедливо говорит, что никто лучше его не знает трудностей литературного ремесла, и что если он может, приятно поболтав с каким-нибудь скромным журналистом, помочь тому заработать несколько гиней, то у него не хватит жестокости ответить отказом. Обычно он приглашает интервьюера пообедать и редко производит на него невыгодное впечатление. Единственное условие, которое он ставит, заключается в том, чтобы просмотреть статью перед ее опубликованием. Его никогда не выводят из себя газетчики, которые в самые неподходящие моменты звонят знаменитому человеку и требуют сообщить читателям, верит ли он в Бога или что ест на завтрак. Он принимает участие во всех публичных диспутах, и все знают, что он думает о сухом законе, вегетарианстве, джазе, чесноке, спорте, браке, политике и месте женщины в доме.

Его взгляды на брак остались абстрактными, ибо он успешно избежал этого состояния, которое столь многие деятели искусства с таким трудом пытались примирить со служением своему призванию. Всем известно, что в течение нескольких лет он питал безнадежную страсть к одной замужней даме из высшего света, и, хотя он говорил о ней не иначе как с рыцарственным преклонением, все догадывались, что она обошлась с ним жестоко. Об этом пережитом им испытании напоминает необычная горечь, которой проникнуты повести, написанные им в середине творческого пути.

Душевные муки, перенесенные им в то время, помогают ему вежливо уклоняться от авансов дам с сомнительной репутацией, которые когда-то были украшением веселых компаний, а теперь стремятся сменить непрочное настоящее на надежный брак с известным писателем. Как только он замечает в их ясных глазах тень брачной конторы, он говорит им, что память о его единственной большой любви не позволит ему принять на себя какие бы то ни было постоянные узы. Его донкихотство может их раздражать, но не может оскорбить. Он едва заметно вздыхает при мысли, что навсегда лишен радостей домашнего очага и отцовства, но он готов на эту жертву. Он заметил, что публика не желает иметь дела с женами писателей и художников. Художник, который повсюду, куда бы ни шел, берет с собой жену, лишь всем надоедает и поэтому часто оказывается не приглашенным туда, куда бы ему хотелось. Если же он оставляет жену дома, то по возвращении его ждет сцена. Это лишает человека покоя, столь необходимого, чтобы добиться всего, на что он способен. Элрой Кир холост, и теперь, когда ему минуло пятьдесят лет, ему, вероятно, предстоит таковым и остаться.

Он являет собой пример того, что может сделать и до каких высот может подняться писатель благодаря трудолюбию, здравому смыслу, честности и умелому сочетанию разнообразных хитростей и уловок. Он неплохой человек, и лишь злостный критикан мог бы позавидовать его успеху. Я почувствовал, что, если засну с мыслями о нем, это обеспечит мне безмятежный сон. Я нацарапал записку мисс Феллоуз, выколотил пепел из трубки, погасил свет в гостиной и лег спать.

## II

Когда на следующее утро мне принесли газеты и письма, среди них был и ответ на записку, которую я оставил мисс Феллоуз. Он гласил, что мистер Элрой Кир ожидает меня в час пятнадцать в своем клубе на Сент-Джеймс-стрит. Около часа я заглянул в собственный клуб и выпил коктейль – на то, что меня угостит коктейлем Рой, я не особенно надеялся. Потом я не спеша прошелся по Сент-Джеймс-стрит, разглядывая витрины магазинов, и так как до назначенного времени оставалось еще несколько минут (я не хотел быть чересчур пунктуальным), то я зашел в аукционный зал «Кристи» посмотреть, не приглянется ли мне там что-нибудь. Аукцион уже начался, и стоявшие кучкой смуглые низкорослые люди передавали друг другу серебряные викторианские вещи, а аукционист, скучающим взглядом следя за их движениями, монотонно бормотал: «Предложено десять шиллингов, одиннадцать, одиннадцать с половиной...» Было начало июня, стояла прекрасная погода, воздух на улице был чист и прозрачен, и от этого картины на стенах аукционного зала казались очень тусклыми. Я вышел. Люди шли по улице весело и беззаботно, как будто им в душу проник покой этого дня и среди своих дел они с удивлением ощутили внезапное желание остановиться и взглянуть в картину жизни.

Клуб Роя принадлежал к числу степенных. В вестибюле находились лишь швейцар преклонных лет и рассыльный, и мне неожиданно пришла в голову печальная мысль, что все члены клуба отправились хоронить метрдотеля. Когда я произнес фамилию Роя, рассыльный повел меня в пустой коридор, где я оставил шляпу и трость, а потом в пустой холл, стены которого были увешаны портретами государственных мужей эпохи Виктории в натуральную величину. Рой встал с кожаного дивана и радостно поздоровался со мной.

– Пойдемте прямо наверх? – сказал он.

Я оказался прав, полагая, что он не угостит меня коктейлем, и похвалил себя за предусмотрительность. Он повел меня по величественной парадной лестнице, покрытой тяжелым ковром; ни единой души не попало нам навстречу. Мы вошли в столовую для гостей, где тоже оказались единственными посетителями. Это была комната солидных размеров, очень чистая и белая, с большим окном, украшенным роскошными лепными гирляндами. Мы уселись около него, и сдержанный официант подал нам карточку. Говядина, баранина, холодная лососина, пирог с ревенем, пирог с крыжовником... Пробегаая этот неизбежный список, я вздохнул при мысли о ресторанах за углом, где была французская кухня, кипела жизнь и сидели хорошенькие, накрашенные женщины в летних платьях.

– Рекомендую паптет из телятины с ветчиной, – сказал Рой.

– Ладно.

– Салат я смешаю сам, – сказал он официанту небрежно, но властно, а потом, еще раз взглянув в карточку, великодушно добавил: – А как насчет спаржи?

– Очень хорошо.

Он сделался еще величественнее.

– Спаржу на двоих, и скажите шефу, чтобы выбрал сам. Ну а что бы вы хотели выпить? Что вы скажете о бутылке рейнвейна? Мы здесь большие любители рейнвейна.

Когда я согласился, он велел официанту позвать управляющего винным погребом. Я не мог не восхищаться тем властным, но безукоризненно вежливым тоном, каким он отдавал приказания. Чувствовалось, что именно так должен хорошо воспитанный король посылать за каким-нибудь своим фельдмаршалом. Дородный управляющий в черном костюме с серебряной цепью на шее – знаком своей должности – поспешил явиться с картой вин в руках. Рой кивнул ему со сдержанной фамильярностью:

– Здравствуйте, Армстронг. Мы хотим «Либфраумильх» двадцать первого года.

– Хорошо, сэр.



– Много его еще осталось? Знаете, ведь больше его не достать.

– Боюсь, что нет, сэр.

– Ну, нечего тревожиться раньше времени. Верно, Армстронг?

Рой добродушно улыбнулся управляющему. Опыт многолетнего общения с членами клуба подсказал тому, что это замечание требовало ответа.

– Да, сэр.

Рой засмеялся и взглянул на меня. Занятный человек этот Армстронг.

– Так вот, заморозьте его, Армстронг. Не слишком, а в самую меру. Покажите моему гостю, что мы здесь понимаем в этом толк.

Он повернулся ко мне:

– Армстронг служит у нас уже сорок восемь лет.

Когда управляющий ушел, Рой сказал:

– Надеюсь, вы не пожалеете, что пришли сюда. Здесь тихо, и мы сможем как следует поговорить. Давненько нам это не удавалось. А вы как будто в прекрасной форме.

Это привлекло мое внимание к внешности Роя.

– Но до вас мне далеко, – ответил я.

– Плоды честной, трезвой и праведной жизни, – засмеялся он. – Много работы. Много спорта. Как ваши успехи в гольфе? Надо будет нам как-нибудь сыграть партию.

Я знал, что Рой прекрасно играет в гольф и что меньше всего он стремится к тому, чтобы потерять целый день с посредственным игроком вроде меня. Но я почувствовал, что мне ничего не грозит, если даже я и приму столь неопределенное приглашение.

Рой выглядел воплощением здоровья. В его вьющихся волосах появилась сильная проседь, но она ему шла и делала еще моложе его открытое, загорелое лицо. Глаза его, глядевшие на мир с таким неподдельным чистосердечием, были ясны и чисты. Он уже утратил былую стройность, и я не удивился, что, когда официант принес булочки, Рой попросил для себя диетических хлебцев. Легкая полнота лишь усугубляла его достоинство: она придавала больший вес его словам. Из-за того, что его движения стали более неторопливыми, чем раньше, вас охватывало приятное чувство доверия к нему; он так плотно заполнял свое кресло, что трудно было отделаться от впечатления, будто он сидит на постаменте.

Не знаю, удалось ли мне, излагая здесь разговор Роя с официантом, показать, что его беседа обычно не отличалась ни остроумием, ни блеском, но он говорил непринужденно и так много смеялся, что иногда казалось, будто его слова и вправду остроумны. У него всегда находилось что сказать, и он мог обсуждать злободневные темы с такой легкостью, что его собеседники не чувствовали никакого напряжения мысли.

Писатели всю жизнь работают над словом, и многим из них свойственна дурная привычка слишком точно подбирать выражения в разговоре. Сами того не замечая, они правильно строят фразы, означающие именно то, что они хотят сказать, – не больше и не меньше. Этим они несколько отпугивают лиц из высших слоев общества, чей лексикон ограничен их нехитрыми духовными потребностями, и такие лица не без колебаний вступают с ними в беседу. С Роем никто никогда не чувствовал подобного стеснения. С танцором-гвардейцем он мог разговаривать, пользуясь совершенно понятными ему словами, с графиней – любительницей скачек мог вести беседу на языке конюхов. О нем с восторгом и облегчением говорили, что он ничуть не похож на писателя. Не было комплимента, который доставлял бы ему большее удовольствие.

Благоразумные люди всегда употребляют множество ходячих фраз, общепринятых эпитетов, глаголов, смысл которых известен лишь тем, кто вращается в определенном кругу; эти дешевые блески украшают светскую беседу и избавляют от необходимости думать. Американцы, самые изобретательные люди на земле, довели такой способ до столь высокого совершенства и выдумали столь широкий ассортимент многозначительных банальностей, что могут вести занимательный и оживленный разговор, ни на мгновение не задумываясь над тем, что

говорят. Это освобождает их мозг для размышления о более важных вопросах – например, о большом бизнесе или о прелюбодеянии. У Роя тоже был обширный репертуар, а чутьем на модные словечки он обладал безошибочным; они в изобилии, но всегда к месту уснащали его речь, и он вставлял их каждый раз с радостной готовностью, как будто только сию минуту их породило его воображение.

На этот раз он говорил о том о сем, о наших общих знакомых, о новых книгах, об опере. Он был очень весел. Он всегда отличался жизнерадостностью, но сегодня от его веселья просто захватывало дух. Он сетовал на то, что мы так редко видимся, и с той прямоотой, которая была одной из его приятнейших черт, говорил мне, как он меня любит и какого высокого обо мне мнения. Я чувствовал, что должен ответить ему тем же дружелюбием. Он расспрашивал меня о книге, которую писал я, а я расспрашивал его о книге, которую писал он. Мы пожаловались друг другу, что ни один из нас не пользуется тем успехом, какого заслуживает. Мы съели паштет из телятины с ветчиной, и Рой рассказал мне, как он смешивает салат. Мы пили рейнвейн и одобрительно причмокивали губами.

А я все думал, когда же он доберется до сути дела. Я не мог заставить себя поверить, что в разгар лондонского сезона Элрой Кир способен потратить целый час на собрата по перу, который не ведет критического раздела и не пользуется никаким влиянием решительно нигде, – только для того, чтобы поговорить о Матиссе, русском балете и Марселе Прусте. Кроме того, за его весельем я смутно чувствовал, что он как будто чего-то ждет. Не знаю я, что он процветает, я бы заподозрил его в намерении занять у меня сотню фунтов.

Дело шло к тому, что обед кончится, а ему так и не представится случай высказаться. Я знал, что он осторожен. Может быть, он решил, что лучше воспользоваться этой первой после столь долгой разлуки встречей лишь для восстановления дружеских отношений, и рассматривал нашу приятную, обильную трапезу лишь как приманку?

– Пойдемте пить кофе в соседнюю комнату? – предложил он.

– Пожалуйста.

– По-моему, там удобнее.

Я прошел за ним в другую комнату, гораздо более просторную, с огромными кожаными креслами и необозримыми диванами; на столах здесь лежали газеты и журналы. В углу вполголоса разговаривали два старых джентльмена. Они враждебно взглянули на нас, но это не помешало Рою дружески их приветствовать.

– Здравствуйте, генерал, – воскликнул он, весело кивнув головой.

Я постоял у окна, глядя на открывавшийся за ним радостный день, и пожалел, что плохо знаю исторические события, связанные с Сент-Джеймс-стрит. К моему стыду, я не знал даже названия клуба напротив, а спросить Роя боялся, чтобы он не начал презирать меня за незнание вещей, известных каждому приличному человеку. Он подозвал меня, спросив, буду ли я пить с кофе коньяк, и, когда я отказался, продолжал настаивать. Клуб славился своим коньяком. Мы сели рядом на диван у элегантного камина и закурили сигары.

– Здесь со мной обедал Эдуард Дрифилд, когда в последний раз перед смертью был в Лондоне, – небрежно сказал Рой. – Я заставил старика попробовать наш коньяк, и он был в восторге. В прошлое воскресенье я побывал в гостях у его вдовы.

– В самом деле?

– Она передавала вам всяческие приветы.

– Очень мило с ее стороны. Я не думал, что она меня помнит.

– Ну как же, конечно, помнит. Вы обедали там лет шесть назад, верно? Она говорит, что старик был так рад вас видеть.

– Она-то, по-моему, была не очень рада.

– О нет, вы ошибаетесь. Ну конечно, ей приходилось соблюдать большую осторожность. Старика просто осаждали люди, которые хотели с ним увидеться, и она должна была беречь его

силы. Она всегда боялась, что он переутомится. Уж если на то пошло, вообще удивительно, как это он у нее продержался, да еще в здравом уме и твердой памяти, до восьмидесяти четырех лет. После его смерти я довольно-таки часто ее видел. Она очень одинока. В конце концов, она двадцать пять лет только и делала, что ухаживала за ним. А это, знаете, нелегко. Мне ее вправду жаль.

– Она сравнительно молода. Пожалуй, еще выйдет замуж.

– О нет, она не сможет этого сделать. Это было бы ужасно.

Мы пригубили коньяк и помолчали.

– Вы, кажется, один из тех немногих, кто знал Дриффилда, пока он еще не пользовался известностью. Вы когда-то часто с ним виделись, верно?

– Более или менее. Я был почти мальчишкой, а он уже был в летах. Так что закадычными приятелями мы не были.

– Может быть, и нет, но вы, наверное, знаете о нем много такого, чего другие не знают.

– Пожалуй, да.

– А вам никогда не приходило в голову написать о нем воспоминания?

– Что вы, конечно нет!

– А не кажется ли вам, что вы должны это сделать? Это же был один из великих романистов нашего времени. Последний из викторианцев. Исполнин. Если каким-нибудь книгам, написанным за последние сто лет, суждено бессмертие, то это его романы.

– Сомневаюсь. Мне они всегда казались довольно скучными.

Рой поглядел на меня смеющимися глазами.

– Как это похоже на вас! Во всяком случае, вы должны признать, что находитесь в меньшинстве. Я, не стыдясь, сознаюсь, что читал его книги не раз и не два, а раз по пять, и с каждым разом они кажутся мне все лучше и лучше. Вы читали, что писали о нем после его смерти?

– Кое-что.

– Единодушие было просто потрясающим. Я прочел все.

– Но если везде говорилось одно и то же, стоило ли все читать?

Рой добродушно пожал плечами, но не ответил.

– По-моему, великолепно выступил «Таймс литерари сапплмент». Старик был бы рад, если бы прочел. Я слышал, что «Куортерли» готовит о нем статью в следующем номере.

– А я все равно считаю, что романы у него довольно скучные.

Рой снисходительно улыбнулся:

– Вас не смущает то, что ваше мнение расходится со всеми авторитетами?

Ничуть. Я пишу уже тридцать пять лет, и вы не можете себе представить, сколько писателей на моих глазах были провозглашены гениями, час-другой наслаждались славой и погрузились в забвение. Любопытно, что потом с ними случилось. Умерли они, или попали в сумасшедший дом, или где-нибудь служат? Может быть, они живут в захолустных деревушках и украдкой дают почитать свои книги местному доктору и старым девам из благородных семей? А может, их все еще считают великими людьми в каком-нибудь итальянском пансионе?

– Да, это неудачники. Я знавал таких.

– Вы даже читали о них лекции.

– Приходится. Почему не помочь людям, если можешь и если знаешь, что из них все равно ничего не получится? Черт возьми, можем же мы себе позволить быть великодушными! И потом, у Дриффилда нет с ними ничего общего. В полном собрании его сочинений тридцать семь томов, и последний экземпляр был продан на аукционе у «Сотбис» за семьдесят восемь фунтов. Это говорит само за себя. Тиражи его книг росли из года в год и в прошлом году были больше, чем когда-либо раньше. Можете мне поверить, эти цифры показывала мне миссис Дриффилд, когда я был там в последний раз. Дриффилд останется навсегда.

– Кто знает?

– Ну, по-вашему, вы все знаете, – съязвил Рой в ответ, но я не смутился. Я знал, что мои слова раздражают его, и это доставляло удовольствие.

– По-моему, первые впечатления, оставшиеся у меня детства, были правильными. Мне говорили, что Карлайл – великий писатель, и мне было очень стыдно, когда я убедился, что не могу прочесть «Французскую революцию» и «Сартор ресартус». А кто их читает теперь? Чужие мнения казались мне вернее собственных, и я заставлял себя считать великолепным писателем Джорджа Мередита. Но про себя я думал, что он пишет выпендренно, неискренне и многословно. Сейчас многие так считают. Мне говорили, что культурный молодой человек должен восхищаться Уолтером Патером, и я им восхищался, но, Боже мой, какая скучища его «Мариус»!

– Ну конечно, Патера, по-моему, теперь в самом деле никто не читает, и от Мередита уже ничего не осталось, а что до Карлайла, то это попросту претенциозный болтун...

– Но вы не представляете, как уверены были все в их бессмертии тридцать лет назад.

– И вы никогда не делали ошибок?

– Одну или две. Я и наполовину так не ценил Ньюмена, как ценю сейчас, а звонкие четверостишия Фицджеральда нравились мне гораздо больше, чем теперь. Я не смог одолеть «Вильгельма Мейстера» Гете, а теперь считаю его шедевром.

– А что из того, что казалось вам хорошим тогда, нравится и сейчас?

– Ну, «Тристрам Шенди», и «Эмилия», и «Ярмарка тщеславия». «Мадам Бовари», «Пармская обитель» и «Анна Каренина». И Вордсворт, и Ките, и Верлен.

– Вы, конечно, извините, но я позволю себе заметить, что это не особенно оригинально.

– Пожалуйста. Я и не думаю, что это оригинально. Но вы спросили, почему я доверяю своему собственному суждению, и я попытался объяснить: что бы я ни утверждал из робости и из уважения к тогдашнему просвещенному мнению, на самом деле я не восхищался некоторыми авторами, которых тогда считали достойными восхищения. И время как будто показало, что я был прав. А то, что мне тогда откровенно и инстинктивно нравилось, выдержало испытание временем и для меня, и для критики вообще.

Рой помолчал. Он заглянул в свою чашку – не знаю, хотел ли он посмотреть, не осталось ли там еще кофе, или пытался найти что сказать. Я поднял глаза на часы над камином. Через минуту я смогу уйти, не нарушая приличий. Может быть, я все-таки ошибался и Рой пригласил меня лишь для того, чтобы поболтать о Шекспире и музыкальных новинках? Я упрекнул себя за то, что так дурно о нем думал, и бросил на него сочувственный взгляд. Если такова была его единственная цель, это могло означать одно: он устал и разочарован. Такое бескорыстие могло свидетельствовать лишь о том, что, по крайней мере в данный момент, у него на душе скверно.

Но он заметил, что я посмотрел на часы, и заговорил:

– Не понимаю, как вы можете отрицать, что если человек на протяжении шестидесяти лет пишет книгу за книгой и пользуется все растущей популярностью, – значит, в нем что-то есть? Ведь в Ферн-Корте целые шкафы забиты переводами книг Дрифилда на языки всех цивилизованных народов. Конечно, я согласен, многое из того, что он написал, в наше время кажется слегка старомодным. Он расцвел в неудачную эпоху, и у него осталась склонность к пустословию. Большая часть его сюжетов мелодраматична. Но вы должны согласиться, что одно достоинство у него есть – это чувство прекрасного.

– В самом деле? – сказал я.

– В конце концов, это самое главное, а у Дрифилда нет такой страницы, которая не была бы проникнута чувством прекрасного.

– Да? – сказал я.

– Жаль, что вас не было, когда мы поехали преподносить ему к восьмидесятилетнему юбилею его портрет. Это было действительно памятное событие.

– Я читал об этом в газетах.

– Знаете, там были не только писатели – это было очень представительное общество: наука, политика, деловой мир, искусство, высший свет. Не часто собирается такая коллекция знаменитостей, как та, что вышла тогда из поезда в Блэкстебле. Все были ужасно тронуты, когда премьер вручил старику орден «За заслуги». Он произнес прекрасную речь. Я не стыжусь сказать, что у многих в тот день навернулись слезы на глаза.

– А Дриффилд тоже плакал?

– Нет, он держался на удивление спокойно. Он был, как всегда – такой, знаете, чуть застенчивый, скромный, с безупречными манерами. Он, конечно, был полон благодарности, но немного суховат. Миссис Дриффилд боялась, чтобы он не переутомился, и, когда мы сели обедать, он остался в кабинете, а она велела отнести ему кое-что на подносе. Пока все пили кофе, я улизнул к нему. Он курил трубку и глядел на портрет. Я спросил, понравился ли ему портрет. Он ничего не ответил, только чуть улыбнулся. Потом он спросил, как я считаю, можно ли ему вынуть зубные протезы, а я сказал, что нет и что вся депутация сейчас придет прощаться. Потом я спросил, не думает ли он, что это удивительные минуты. «Занятно, – сказал он. – Очень занятно». По-моему, он был просто потрясен. В последние годы он очень неопрятно ел, да и курил тоже – весь обсыпался табаком, когда набивал трубку. Миссис Дриффилд не любила, чтобы он в таком виде показывался людям, но я-то, конечно, был не в счет. Я почистил его, а потом все пришли позвать ему руку, и мы возвратились в город.

Я встал.

– Ну, мне в самом деле пора. Я очень рад, что с вами повидался.

– Я сейчас собираюсь на закрытый вернисаж в Лестерскую галерею. Я там кое-кого знаю. Если хотите, я вас проведу.

– Это очень любезно с вашей стороны, но они прислали мне приглашение. Нет, я, пожалуй, не пойду.

Мы спустились по лестнице, и я взял шляпу. Когда мы вышли на улицу и я повернул в сторону Пиккадилли, Рой сказал:

– Я провожу вас до угла.

Он зашагал со мной в ногу.

– Вы ведь знали его первую жену?

– Чью?

– Дриффилда.

– А! – Я уже забыл о нем. – Да.

– Хорошо знали?

– Достаточно хорошо.

– Кажется, она была просто ужасна.

– Этого я что-то не припомню.

– Как будто страшно вульгарная женщина. Ведь она была буфетчицей, да?

– Верно.

– Не понимаю, как его угораздило на ней жениться. Я везде слышал, что она изменяла ему на каждом шагу.

– Да, на каждом шагу.

– Вы вообще-то помните, какая она была?

– Прекрасно помню. – Я улыбнулся. – Она была прелесть.

Рой усмехнулся:

– Большинство о ней другого мнения.

Я промолчал. Мы дошли до Пиккадилли, и я, остановившись, протянул ему руку. Он пожал ее, но, как мне показалось, без своей обычной сердечности. У меня осталось впечатление, будто он разочарован нашей встречей. Я не мог понять почему. Он не добился от меня, чего хотел, по той простой причине, что не дал мне ни малейшего намека на то, что бы это

могло быть. Не спеша шагая мимо аркады отеля «Риц» и вдоль ограды парка до угла Хаф-Мун-стрит, я размышлял, не было ли мое поведение более обычного отпугивающим. Ясно, что Рой счел случай неподходящим, чтобы просить меня о каком-то одолжении.

Я свернул на Хаф-Мун-стрит. После веселой суматохи Пиккадилли здесь царила приятная тишина. Это была почтенная, респектабельная улица. В большинстве домов здесь сдавались квартиры, но об этом не извещали вульгарные объявления: на некоторых об этом гласили начищенные до блеска медные таблички, какие вывешивают врачи, на окнах других было аккуратно выведено: «Квартиры». На одном-двух особенно благопристойных домах просто была обозначена фамилия владельца: не зная, в чем дело, можно было подумать, что здесь помещается портной или ростовщик. В отличие от Джермин-стрит, где тоже сдают комнаты, здесь не было такого напряженного уличного движения; только кое-где у дверей стояли пустые шикарные машины да иногда такси высаживало какую-нибудь пожилую леди. Чувствовалось, что здесь живут не веселые обитатели Джермин-стрит с их чуть сомнительной репутацией – любители скачек, встающие по утрам с головной болью и требующие рюмочку, чтобы прийти в себя, – а респектабельные дамы, приехавшие из провинции на шесть недель в разгар лондонского сезона, и пожилые джентльмены, принадлежащие к клубам, куда не всякого пускают. Чувствовалось, что они из года в год приезжают в один и тот же дом и, может быть, знавали его владельца, еще когда он был в услужении. Моя хозяйка мисс Феллоуз когда-то служила кухаркой в нескольких очень хороших домах, но вы бы никогда об этом не догадались, увидев ее идущей за покупками на рынок. Она была ни толстой, ни краснолицей, ни неряшливой, какими мы обычно представляем себе кухарок: это была женщина средних лет, худая, с решительным выражением лица; держалась она очень прямо, одевалась скромно, но по моде, красила губы и носила монокль. Она отличалась деловитостью, хладнокровием, спокойным цинизмом и брала очень дорого.

Я снимал у нее комнаты в первом этаже. Гостиная была оклеена старыми обоями под мрамор, а на стенах висели акварели, изображавшие всякие романтические сцены: кавалеров, расстающихся со своими дамами, и рыцарей былых времен, пирующих в роскошных залах. В комнате стояли высокие папоротники в горшках, а кресла были обиты выцветшей кожей. Комната чем-то странно напоминала о восьмидесятих годах, только за окном вместо собственных экипажей проезжали «крайслеры». Окна задерживались занавесями из тяжелого красного репса.

### III

В этот день у меня было много дел, но разговор с Роем и то ощущение, которое, не знаю почему, сильнее обычного охватило меня, как только я вошел в свою комнату, – ощущение позавчерашнего дня, продолжающего жить в памяти еще не старых людей, – все это побуждало к тому, чтобы погрузиться в воспоминания. Как будто меня обступили все, кто когда-то жил в этой комнате, с их старомодными манерами, в странных одеждах: мужчины с подстриженными бачками и в сюртуках, женщины в юбках с турнюрами и в оборках. Отдаленный городской шум, который я не то слышал, не то воображал (дом стоял в самом конце Хаф-Мунстрит), и прелесть солнечного июньского дня (*le verge, le vivace et le bel aujourd'hui*<sup>3</sup>) придали моим грезам особую остроту, не лишенную приятности. Казалось, прошлое, в которое я вглядывался, потеряло свою реальность, и я как будто из заднего ряда темной галерки смотрел сцену из какой-то пьесы. Но возникавшие передо мной картины не смазывались, как в жизни, когда непрестанная толчея впечатлений лишает их отчетливости, а были четкими, резкими и определенными, как пейзаж, тщательно выписанный художником середины викторианской эпохи.

По-моему, жизнь сейчас стала интереснее, чем сорок лет назад, и мне кажется, что люди стали общительнее. Конечно, может быть, тогда они были достойнее и добродетельнее или, как говорят, мудрее. Не знаю; знаю только, что они были сварливее, слишком много ели, частенько слишком много пили и вели слишком малоподвижную жизнь. У них вечно была не в порядке печень, а нередко – и пищеварение. Они были раздражительны. Я говорю не о Лондоне, которого совершенно не знал, пока не стал взрослым, и не о знати, увлекавшейся охотой; я имею в виду провинцию и людей помельче – джентльменов с небольшим доходом, священников, отставных офицеров и тому подобных, тех, кто составлял местное общество. Их жизнь была невероятно скучной. В гольф тогда не играли; кое-где были скверные теннисные корты, но играла в теннис лишь молодежь; раз в год в собрании устраивались танцы; в послеобеденное время те, у кого были экипажи, ездили кататься, а остальные «делали моцион»!

Конечно, они не сознавали, что лишены развлечений, о существовании которых и не подозревали, и увеселяли себя тем, что время от времени устраивали маленькие приемы (чай, на который приходили со своими музыкальными инструментами и исполняли песни Мод Валери Уайт и Тости); но дни тянулись долго, и люди скучали. Соседи, обреченные прожить до конца своих дней в миле друг от друга, ссорились не на жизнь, а на смерть и, ежедневно встречаясь в городе, не здоровались на протяжении двадцати лет. Они были тщеславны, упрямы и своенравны. Такая жизнь нередко порождала необычные типы: люди не были так похожи друг на друга, как сейчас, и создавали себе некоторую известность своими причудами, но поладить с ними было нелегко. Может быть, мы в самом деле легкомысленны и беззаботны, но мы не питаем друг к другу такой подозрительности. Мы грубоваты, но добродушны, более уживчивы и не так чванливы.

Я жил у дяди и тети на окраине маленького приморского городка в Кенте. Город назывался Блэкстебл, и дядя был в нем приходским священником. Тетя происходила из очень знатной, но обедневшей немецкой семьи и принесла с собой в приданое только письменный стол-маркетри, изготовленный по заказу одного из ее предков в семнадцатом веке, и набор бокалов. К тому времени, как я появился на сцене, из них осталось лишь несколько штук, служивших украшением гостиной. Мне очень нравился выгравированный на них большой герб. Там было не знаю сколько полей, значение которых тетя объясняла мне с полной серьезностью, прекрасные геральдические звери и невероятно романтический шлем, возвышавшийся над короной. Тетя была простодушная, кроткая и благожелательная старая леди, но, хоть она и прожила

<sup>3</sup> Начало стихотворения Ст. Малларме «Лебедь».

тридцать лет замужем за скромным священником с очень небольшим доходом сверх жалования, она не забыла своего высокородного происхождения. Когда соседний дом снял на лето богатый лондонский банкир, сейчас хорошо известный в финансовых кругах, и мой дядя нанес ему визит (я полагаю, главный образом ради того, чтобы добиться от него пожертвования в фонд поощрения священнослужителей), она отказалась поехать к нему – ведь он был не двоюродник. И никто не упрекнул ее в снобизме: все сочли это вполне естественным. У банкира был сын примерно моего возраста, и, уж не помню как, я с ним познакомился. Я до сих пор не забыл, какой последовал спор, когда я попросил разрешения пригласить его к нам. Разрешение было нехотя дано, но побывать в гостях у него мне не позволили. Тетя сказала, что так я, чего доброго, попрошусь в гости и к угольщику, а дядя добавил:

– Дурные знакомства портят хорошие манеры.

Каждое воскресенье банкир приходил в церковь на утреннюю службу и каждый раз оставлял на блюде для пожертвований полсовершенна. Но если он думал, что его щедрость производит благоприятное впечатление, он сильно ошибался. Об этом знал весь Блэкстебл, но все считали, что он лишь кичится своим богатством.

Блэкстебл состоял из одной извилистой улицы, выходившей к морю, с маленькими двухэтажными домами. Часть их составляли особняки, но немало было и лавок. От этой улицы отходили короткие улочки, заканчивавшиеся с одной стороны в поле, а с другой – в болотах. Гавань была окружена лабиринтом узких кривых переулков. Уголь в Блэкстебл доставляли парходами из Ньюкасла, и в гавани кипела жизнь. Когда я подростом настолько, что мне разрешили гулять одному, я часами бродил здесь, разглядывал грубоватых перемазанных моряков в шерстяных фуфайках и смотрел, как разгружают уголь.

В Блэкстебле я и встретился впервые с Эдуардом Дрифилдом. Мне тогда было пятнадцать лет, и я только что приехал на каникулы. В первое же утро я взял полотенце и купальные трусы и отправился на пляж. Небо было чистое, воздух горячий и прозрачный, а Северное море придавало ему особенный привкус, так что просто жить и дышать было наслаждением. Зимой жители Блэкстебла торопливо шагали по пустым улицам, съехившись и стараясь подставить жгучему восточному ветру как можно меньшую поверхность тела. Но теперь они никуда не спешили и стояли кучками между «Герцогом Кентским» и расположенным чуть дальше по улице «Медведем и ключом». Слышался их протяжный восточно-английский говор; может быть, он и некрасив, но я до сих пор по старой памяти нахожу в нем какое-то ленивое очарование. У них были розовые лица с голубыми глазами и высокими скулами и светлые волосы. Они производили впечатление чистых, честных и искренних людей. Не думаю, чтобы они отличались особенным умом, но были бесхитростны и простодушны. Выглядели они здоровыми и, несмотря на невысокий рост, были по большей части сильны и подвижны. В то время уличного движения в Блэкстебле почти не существовало, и кучкам людей, болтавших между собой там и сям на дороге, почти не приходилось уступать место экипажам – разве что проезжала двуколка доктора или фургон булочника.

Мимоходом я зашел в банк, чтобы поздороваться с управляющим, который состоял у моего дяди церковным старостой, и, выходя оттуда, встретил дядинного помощника. Он остановился, чтобы пожать мне руку. Его сопровождал какой-то незнакомец, которому он меня не представил. Это был невысокий бородатый человек, одетый довольно безвкусно: светло-коричневый костюм с бриджами, туго обтягивающими ноги ниже колен, темно-синие чулки, черные башмаки и шляпа с низкой тульей и широкими полями. Тогда бриджей почти не носили, и я по молодости лет тут же решил, что это человек дурного тона. Но пока я болтал с дядиным помощником, он дружелюбно смотрел на меня с улыбкой в светло-голубых глазах. Я чувствовал, что ему ничего не стоит присоединиться к нашему разговору, и принял надменный вид. Я не желал, чтобы со мной заговорил этот мужлан, одетый в бриджи, как лесничий, а фамильярно-добродушное выражение его лица меня возмущало. Сам я был одет безукоризненно:



белые фланелевые брюки, голубая фланелевая куртка с гербом школы на нагрудном кармане и черно-белая шляпа с очень широкими полями.

Вскоре дядин помощник сказал, что ему пора идти (я был счастлив, потому что никогда не отличался умением закончить уличный разговор и вечно сгорал от застенчивости, тщетно поджидая удобного случая), но добавил, что после обеда зайдет к нам, и попросил передать это дяде. Незнакомец кивнул и улыбнулся мне на прощанье, но я смерил его ледяным взглядом. Я решил, что он дачник, а с дачниками мы в Блэкстебле дела не имели, считая лондонцев вульгарными. Мы говорили: ужасно, что каждый год сюда приезжает вся эта городская шваль, но, конечно, это необходимо для блага торгового сословия. Впрочем, даже оно вздыхало с некоторым облегчением, когда сентябрь подходил к концу и Блэкстебл вновь погружался в свой обычный мир и покой.

Придя домой к обеду с еще мокрыми, прилипшими к голове волосами, я сказал, что встретил дядиногo помощника и что он после обеда придет.

– Сегодня ночью умерла старая миссис Шеперд, – объяснил дядя.

Дядиногo помощника звали Гэллоуэй; это был высокий, тощий, нескладный человек с растрепанными черными волосами и маленьким, болезненным смуглым лицом. Вероятно, он был еще совсем молод, но мне казался пожилым. Говорил он очень быстро и сильно жестикулировал. Из-за этого люди считали его немного странным, и мой дядя не взял бы его к себе в помощники, если бы не его огромная энергия: дядя был крайне ленив и очень обрадовался, что нашелся человек, готовый принять на себя столько работы.

Покончив с делами, мистер Гэллоуэй зашел попрощаться с тетей, и она пригласила его остаться пить чай.

– С кем это вы были сегодня утром? – спросил я его, как только он сел.

– О, это Эдуард Дриффилд. Я вас не познакомил, потому что не знал, будет ли ваш дядя доволен таким знакомством.

– Я думаю, это было бы крайне нежелательно, – сказал дядя.

– А почему? Кто он такой? Он не из Блэкстебла?

– Он родился в нашем приходе, – сказал дядя. – Его отец был управляющим у старой мисс Вулф в Ферн-Корте. Но они не принадлежали к нашей церкви.

– Он женился на девушке из Блэкстебла, – сказал мистер Гэллоуэй.

– И венчались, кажется, по нашему обряду, – сказала тетя. – Правда, что она была буфетчицей в «Железнодорожном гербе»?

– Судя по ее виду, вполне могла быть, – ответил мистер Гэллоуэй с улыбкой.

– Надолго они сюда?

– Да, как будто. Они сняли дом в том переулке, где церковь конгрегационалистов.

Хотя новые улицы Блэкстебла, несомненно, имели названия, никто в городе тогда их не знал и не употреблял.

– А он в церковь ходит? – спросил дядя.

– Еще не спрашивал, – ответил мистер Гэллоуэй. – Знаете, он вполне образованный человек.

– Трудно поверить.

– Насколько я знаю, он кончил хэвершемскую школу и получил массу всяких стипендий и призов. Его послали учиться в Уодхэм, но он сбежал и поступил в матросы.

– Я слышал, что он человек довольно легкомысленный, – сказал дядя.

– Но он не похож на моряка, – заметил я.

– О, он это занятие бросил много лет назад. С тех пор кем он только не перебивал.

– Всего понемногу, и ничего толком, – сказал дядя.

– А теперь, насколько мне известно, он писатель.

– Ну, это ненадолго.

Я никогда еще не видел писателя и заинтересовался.

– А что он пишет? – спросил я. – Книги?

– Кажется, – ответил дядин помощник, – и еще статьи. В прошлом году весной он напечатал повесть. Он обещал дать ее почитать.

– На вашем месте я не стал бы тратить время на всякую чушь, – сказал дядя, который никогда ничего не читал, кроме «Таймс» и «Гардиан».

– А как она называется? – спросил я.

– Он говорил мне название, но я забыл.

– Во всяком случае, тебе совершенно необязательно это знать, – сказал дядя мне. – Я категорически возражаю против того, чтобы ты читал эту дрянь. Самое лучшее для тебя – провести каникулы на воздухе. К тому же у тебя, кажется, есть задание на лето?

Задание действительно было – «Айвенго». Я читал его, когда мне было десять лет, и теперь перспектива перечитывать его и писать о нем сочинение приводила меня в отчаяние.

Думая о том величии, которого достиг впоследствии Эдуард Дриффилд, я не могу не улыбаться при воспоминании о том, как его персону обсуждали за столом моего дяди. Недавно, после смерти Дриффилда, когда его почитатели начали кампанию за то, чтобы он был погребен в Вестминстерском аббатстве, нынешний блэкстеблский священник, третий по счету после моего дяди, написал письмо в редакцию «Дейли мейл», в котором указал, что Дриффилд родился в этом приходе и не только провел здесь многие годы, особенно на протяжении последних двадцати пяти лет, но и сделал город местом действия нескольких самых знаменитых своих книг; поэтому было бы естественно, чтобы его прах покоился на том кладбище, где под сенью кентских вязов почивают в мире его отец и мать. Блэкстебл был в восторге, когда вестминстерский настоятель довольно резко отказал в разрешении захоронить Дриффилда в аббатстве и миссис Дриффилд напечатала в газетах полное достоинства открытое письмо, где выражала уверенность, что исполняет заветное желание покойного мужа, хороня его среди простых людей, которых он так хорошо знал и любил. Если только почтенные горожане Блэкстебла не изменились в корне с тех пор, как я их знал, им должны были не очень понравиться эти слова насчет «простых людей», но, как я узнал впоследствии, они так или иначе всегда терпеть не могли вторую миссис Дриффилд.

## IV

Два или три дня спустя после обеда с Элроем Киром я, к своему удивлению, получил письмо от вдовы Эдуарда Дриффила. Оно гласило:

«Дорогой друг,

я слышала, что Вы на прошлой неделе имели долгий разговор с Роем об Эдуарде Дриффилде, и была очень рада, узнав, что Вы так хорошо о нем отзывались. Он часто говорил мне о Вас. Он восхищался Вашим талантом и был так рад, когда Вы приехали к нам обедать. Я подумала – нет ли у Вас каких-нибудь писем от него; если есть, не предоставите ли Вы мне их копии? Я была бы очень рада, если бы смогла уговорить Вас приехать сюда ко мне на два-три дня. Я теперь живу очень уединенно, здесь никто не бывает, так что приезжайте, когда Вам будет удобно. Я с удовольствием снова увидаюсь с Вами, и мы поболтаем о прежних временах. Я хочу попросить Вас об одном одолжении и уверена, что ради моего дорогого покойного мужа Вы мне не откажете.

*Всегда искренне Ваша,*

*Эми Дриффилд».*

Я встречался с миссис Дриффилд лишь однажды, и она не вызывала у меня особого интереса. Я не люблю, когда ко мне обращаются «дорогой друг» – одного этого было бы достаточно, чтобы я не принял ее приглашения. Кроме того, меня вообще возмутил самый тон письма: оно было написано так, что какой бы повод для отказа я ни изобрел, все равно было бы совершенно очевидно, что я просто не пожелал приехать. Писем от Дриффила у меня не было. Кажется, много лет назад я несколько раз получал от него коротенькие записки, но тогда он был еще никому не известен, и даже если бы я имел привычку хранить письма, мне никогда не пришлось бы в голову сохранить эти. Откуда я мог знать, что его провозгласят величайшим романистом нашего времени? Я заколебался только потому, что, по словам миссис Дриффилд, она хотела о чем-то меня попросить. Это наверняка будет что-нибудь нудное, но отказать было бы невежливо и, в конце концов, ее муж был человек весьма достойный.

Письмо пришло рано утром, и после завтрака я позвонил Рою. Как только его секретарь услышал мое имя, он соединил нас. Если бы я писал детективный рассказ, то немедленно заподозрил бы, что моего звонка ждали, и мои подозрения подтвердил бы бодрый и мужественный голос Роя. Это неестественно, чтобы человек в столь ранний час проявлял такую жизнерадостность.

– Надеюсь, я не разбудил вас? – сказал я.

– Конечно же нет! – Он залился здоровым смехом. – Я на ногах с семи часов. Катался верхом в парке, а теперь как раз собираюсь завтракать. Приезжайте – позавтракаем вместе.

– Я очень люблю вас, Рой, – ответил я, – но вы – не тот человек, завтрак с которым мне доставил бы удовольствие. Кроме того, я уже завтракал. Послушайте, я только что получил письмо от миссис Дриффила с просьбой приехать к ней в гости.

– Да, она говорила мне, что собирается вас пригласить. Мы можем поехать вместе. У нее вполне приличный корт, и принимает она очень хорошо. Думаю, вам понравится.

– А чего ей от меня нужно?

– Ну, вероятно, она хотела бы сказать вам это сама.

Голос Роя сделался настолько сладким, что мне пришлось в голову: именно так он объявил бы будущему отцу семейства о том, что его жена намерена вскорости исполнить его заветное желание. Но на меня это не подействовало.

- Бросьте, Рой, – сказал я. – Старого воробья на мякине не проведешь. Выкладывайте.
- Наступила секундная пауза. Я почувствовал, что Рою мой тон не понравился.
- Вы заняты сегодня утром? – спросил он вдруг. – Я хотел бы к нам заехать.
- Хорошо, приезжайте. Я буду дома до двух.
- Я приеду через час.

Я повесил трубку, закурил и еще раз просмотрел письмо от миссис Дриффилд.

Тот обед, о котором она писала, я прекрасно помнил. Как-то я несколько дней отдыхал недалеко от Теркенбери у некой леди Ходмарш – неглупой и хорошенькой американки, жены одного баронета, совершенно лишенного интеллекта, но обладавшего очаровательными манерами. Вероятно, чтобы скрасить монотонность семейной жизни, она часто принимала у себя людей, имевших отношение к искусству, собирая разнообразную и оживленную компанию. Представители знати и дворянства с изумлением и некоторой робостью встречались у нее с художниками, писателями и актерами. Леди Ходмарш не читала книг и не видела картин, написанных людьми, которым оказывала гостеприимство, но ей нравилось их общество, и она любила чувствовать свою причастность к миру искусства. Однажды разговор у нее коснулся Эдуарда Дриффилда – самого знаменитого из ее соседей. Я заметил, что когда-то очень хорошо его знал, и она предложила в понедельник, когда большинство гостей возвратится в Лондон, съездить к нему пообедать. Я заколебался: Дриффилда я не видел уже тридцать пять лет и не мог предположить, чтобы он меня вспомнил, а если и вспомнил бы (впрочем, об этом я умолчал), то, по всей вероятности, без особой радости. Но при этом случился один молодой пэр – некий лорд Скэллион, который проявлял такой бурный интерес к литературе, что, вместо того чтобы править Англией в соответствии со всеми законами Божескими и человеческими, тратил всю свою энергию на сочинение детективных романов. Он выразил сильнейшее желание повидать Дриффилда и, как только леди Ходмарш высказала свое предложение, заявил, что это было бы восхитительно. Самой главной гостьей была одна толстая молодая герцогиня, чье преклонение перед знаменитым писателем оказалось настолько сильным, что она была готова отменить назначенные в Лондоне дела и остаться здесь до самого вечера.

– Вот нас уже четверо, – сказала леди Ходмарш. – Думаю, больше они принять и не смогут. Я сейчас же отправлю телеграмму миссис Дриффилд.

Мне ничуть не улыбалось явиться к Дриффилду в этой компании, и я попытался охладить их пыл.

– Мы надоедим ему до смерти, – сказал я. – Он терпеть не может, когда на него сваливается такая толпа незнакомых людей. Он же очень стар.

– Именно поэтому, если они хотят повидать его, пусть сделают это сейчас. Долго он не протянет. А миссис Дриффилд говорит, что он любит общество. У них бывают только доктор и священник, и наш визит будет для него все-таки развлечением. Миссис Дриффилд говорила, что я всегда могу привозить каких-нибудь интересных людей. Конечно, ей приходится быть очень осторожной: к нему навязываются всякие люди, которые мечтают на него поглазеть, и интервьюеры, и авторы, которые хотят, чтобы он прочел их книги, и глупые восторженные женщины. Но миссис Дриффилд просто удивительна. Она к нему никого не пускает, кроме тех, кого посчитает сама, ему нужно повидать. То есть он бы не выдержал и недели, если бы принимал каждого, кто хочет с ним встретиться. Ей приходится беречь его силы. Но к нам, конечно, все это не относится.

Ко мне-то, подумал я, это и в самом деле не относится; но, поглядев на герцогиню и на лорда Скэллиона, я заметил, что про себя они тоже так думают, и решил промолчать.

Мы поехали в светло-желтом «роллс-ройсе». Ферн-Корт находился примерно в трех милях от Блэкстебла. Это был оштукатуренный дом, построенный, вероятно, около тысяча восемьсот сорокового года, некрасивый и без всяких претензий, но основательный. И спереди и сзади по обе стороны двери выступали вперед два широких эркера, и еще два таких же были

на втором этаже. Низкую крышу скрывал простой парапет. Дом был окружен садом, занимавшим около акра, где деревья стояли, пожалуй, слишком часто, но выглядели хорошо ухоженными, а из окна гостиной открывался красивый вид на леса и зеленую низину. Гостиная была обставлена в точности так, как полагается обставлять гостиную в скромном загородном доме, и от этого почему-то становилось немного не по себе. На удобных креслах и большом диване были чистые чехлы из яркого ситца, и занавеси из того же ситца висели на окнах. На маленьких чиппендейловских столиках стояли большие восточные вазы с душистыми сухими лепестками. На кремовых стенах висели красивые акварели работы художников, пользовавшихся популярностью в начале столетия. Повсюду были изящно расположенные цветы, а на рояле стояли в серебряных рамках фотографии знаменитых актрис, покойных писателей и младших представителей царствующего дома.

Герцогиня, разумеется, воскликнула, что это чудная комната. Как раз такая комната, в какой знаменитый писатель должен проводить остаток своих дней.

Миссис Дриффилд приняла нас скромно, но уверенно. Это была женщина, по-моему, лет сорока пяти, с резкими чертами маленького смуглого лица, в черной шляпке, плотно облегающей голову, и сером костюме. Стройная, среднего роста, она выглядела оживленной, деловой и больше всего напоминала овдовевшую дочь помещика, наделенную незаурядными организаторскими способностями и заправляющую делами прихода.

Миссис Дриффилд познакомила нас с каким-то священником и дамой, которые встали, когда мы вошли. Это оказался приходский священник Блэкстебла с женой. Леди Ходмарш и герцогиня тут же принялись рассыпаться в любезностях, как делают все высокопоставленные особы в разговоре с низшими, чтобы показать, будто они не чувствуют никакой разницы в положении.

Тут вошел Эдуард Дриффилд. Время от времени в иллюстрированных журналах мне попадались на глаза его портреты, но, увидев его воочию, я испугался. Дриффилд оказался меньше ростом, чем я его помнил, и очень худ. Редкие серебристые волосы едва покрывали его голову, а чисто выбритое лицо выглядело как будто прозрачным. У него были выцветшие голубые глаза с красными веками. Казалось, душа еле держится в этом старом-старом человеке. Он носил очень белые зубные протезы, и из-за этого его улыбка производила впечатление натянутой и искусственной. Я в первый раз увидел его без бороды, и оказалось, что у него тонкие, бледные губы. На нем был новый, хорошо сшитый голубой шерстяной костюм, а из-за воротничка, на два-три номера больше, чем нужно, виднелась морщинистая, тощая шея. Аккуратный черный галстук был заколот жемчужной булавкой. Дриффилд напоминал переродетого в штатское настоятеля собора, отправившегося отдыхать в Швейцарию.

Миссис Дриффилд быстро окинула его взглядом и ободряюще улыбнулась: вероятно, его безукоризненная внешность ее удовлетворила. Он поздоровался с гостями, сказав каждому несколько вежливых слов. Когда очередь дошла до меня, он заметил:

– Как это мило со стороны такого занятого и пользующегося успехом человека – приехать в эту даль, чтобы повидаться со старым чудачком.

Я был немного огорошен: он говорил так, как будто никогда меня не видел, и я испугался, не подумают ли мои спутники, что я хвастал, говоря о нашем с ним прежнем близком знакомстве. Неужели он совершенно меня забыл?

– Сколько же лет прошло с тех пор, когда мы в последний раз виделись? – сказал я, стараясь говорить бодро.

Он пристально поглядел на меня – вероятно, это продолжалось всего несколько секунд, но мне они показались очень долгими, – и тут я вздрогнул от неожиданности: он мне подмигнул. Это произошло так быстро, что никто, кроме меня, не успел ничего заметить, и так не соответствовало достойному облику старого человека, что я не поверил своим глазам. Уже в следующий момент его лицо снова стало неподвижным, умным, благосклонным и спо-

койно-выжидательным. В этот момент объявили, что обед подан, и мы гурьбой пошли в столовую.

Столовая тоже представляла собой вершину изящного вкуса. Чиппендейловский буфет украшали серебряные подсвечники. Мы сидели на чиппендейловских стульях за чиппендейловским столом. Посередине в серебряной вазе стояли розы, а вокруг – серебряные блюда с шоколадом и мятными конфетами. Серебряные солонки были начищены до блеска и явно относились к эпохе Георгов. На кремовых стенах висели меццо-тинто работы сэра Питера Лели с изображением дам, а на камине стояли фигурки из дельфтского фаянса. Прислуживали нам две девушки в коричневой форме, за которыми миссис Дриффилд, не переставая оживленно болтать, внимательно приглядывала. Мне было непонятно, как это она ухитрилась так вышколить этих цветущих кентских девиц (их местное происхождение выдавали здоровый цвет лица и высокие скулы). Обед был как раз такой, какой нужно, приличный, но не парадный: рулет из рыбного филе под белым соусом, жареный цыпленок с молодым картофелем и горошком, спаржа, пюре из крыжовника со взбитыми сливками. И столовая, и обед, и обхождение – все в точности соответствовало положению литератора с большой славой, но умеренными средствами.

Как большинство жен литераторов, миссис Дриффилд любила поговорить и не давала беседе на своем конце стола утихнуть; поэтому как бы нам ни хотелось услышать, что говорит на другом конце ее муж, это оказалось невозможно. Она была весела и полна энергии. Хотя слабое здоровье и почтенный возраст Эдуарда Дриффилда вынуждал ее большую часть года жить за городом, она тем не менее ухитрялась достаточно часто наведываться в Лондон, чтобы быть в курсе всех событий, и вскоре она уже оживленно обсуждала с лордом Скэллионом пьесы, идущие в лондонских театрах, и эти ужасные толпы в Королевской академии. Ей пришлось ходить туда два раза, чтобы посмотреть все картины, и все-таки на акварели времени не хватило. Ей так нравятся акварели – они бесхитростны, а она так ненавидит претенциозность.

Чтобы хозяин и хозяйка могли сидеть напротив друг друга, священник сел рядом с лордом Скэллионом, а его жена – рядом с герцогиней. Герцогиня развлекала ее беседой о жилищных условиях рабочего класса, о которых явно была гораздо лучше осведомлена, чем жена священника, так что я мог беспрепятственно наблюдать за Эдуардом Дриффилдом. Он разговаривал с леди Ходмарш. По всей видимости, она рассказывала ему, как нужно писать романы, и рекомендовала ему книги, которые он обязательно должен прочесть. Он слушал ее, казалось, с вежливым интересом, время от времени вставляя какое-нибудь замечание – слишком тихо, чтобы я мог расслышать, а когда она отпускала шутку (она это делала часто, и нередко не без успеха), он усмехался и поглядывал на нее с таким видом, как будто хотел сказать: «А эта женщина вовсе не такая уж дура!» Мне вспомнилось прошлое, и я спросил себя – любопытно, что он думает об этом великолепном обществе, о своей прекрасно одетой супруге, такой деловой и уверенной в себе, и об изящной обстановке, в которой живет? Я размышлял о том, не вспоминает ли он с сожалением свою полную приключений молодость, нравится ли ему все это или под его дружелюбной вежливостью скрывается страшная скука? Вероятно, почувствовав, что я на него смотрю, он поднял на меня глаза. Его задумчивый взгляд, мягкий и в то же время испытующий, остановился на мне, а потом – на этот раз ошибки быть не могло – он вдруг снова мне подмигнул. В сочетании со старым, морщинистым лицом это было не просто неожиданно – это ошарашивало: я не знал, что делать, и на всякий случай улыбнулся.

Но тут герцогиня вмешалась в разговор на другом конце стола, и жена священника повернулась ко мне.

– Вы знали его много лет назад, ведь верно? – спросила она тихо.

– Да.

Она оглянулась, не слушает ли нас кто-нибудь.

– Знаете, его жена боится, как бы вы не пробудили в нем старых воспоминаний, которые могли бы причинить ему вред. Он ведь очень слаб и может взволноваться от любой мелочи.

– Я буду очень осторожен.

– Просто удивительно, как она о нем заботится. Такая преданность – всем нам пример. Она понимает, какое бесценное сокровище находится на ее попечении. Ее самоотверженность невозможно описать.

Она еще понизила голос:

– Конечно, он очень стар, а со стариками иногда бывает нелегко, но я ни разу не видела, чтобы она потеряла терпение. Она по-своему не меньше достойна восхищения, чем он.

На такие замечания трудно что-то ответить, но я чувствовал, что ответа от меня ждут.

– Я думаю, при данных обстоятельствах он выглядит прекрасно, – пробормотал я.

– И всем этим он обязан ей.

После обеда мы перешли в гостиную и продолжали разговор стоя. Через две-три минуты ко мне подошел Эдуард Дриффилд. Я в это время беседовал со священником и, не в состоянии придумать ничего лучшего, восхищался прелестным видом из окна. Обратившись к хозяину, я сказал:

– Я как раз говорил, как живописен этот ряд коттеджей там, внизу.

– Отсюда – да. – Дриффилд бросил взгляд на их неровный силуэт, и его тонкие губы изогнулись в иронической усмешке. – В одном из них я родился. Занятно, а?

Но тут к нам подошла миссис Дриффилд – воплощение веселья и общительности. Ее голос был оживлен и мелодичен:

– О Эдуард, герцогине очень хотелось бы посмотреть твой кабинет. Она вот-вот должна уезжать.

– Мне очень жаль, но я должна попасть на поезд в три пятнадцать из Теркенбери, – сказала герцогиня.

Мы один за другим потянулись в кабинет Дриффилда. Это была большая комната в другом конце дома, выходящая на ту же сторону, что и столовая, с большим выступающим наружу окном. Комната была обставлена в точности так, как преданная жена должна обставлять кабинет своего мужа-писателя. Все здесь было аккуратнейшим образом прибрано, и большие вазы с цветами напоминали о женской руке.

– Вот стол, за которым он написал все свои последние произведения, – сказала миссис Дриффилд, закрывая лежавшую на нем переплетом вверх книгу. – Он изображен на фронтисписе третьего тома роскошного издания его сочинений. Это музейная вещь.

Мы повосхищались столом, а леди Ходмарш, улучив минуту, когда никто на нее не смотрел, потрогала снизу его крышку, чтобы удостовериться, настоящий ли он. Миссис Дриффилд быстро и весело улыбнулась нам.

– Хотите посмотреть одну из его рукописей?

– С огромным удовольствием, – ответила герцогиня, – а потом я просто должна лететь.

Миссис Дриффилд достала с полки рукопись, переплетенную в голубой сафьян, и, пока все остальные гости благоговейно разглядывали ее, я занялся книгами, которыми были заставлены все стены комнаты. Сначала, как каждый автор, я окинул их взглядом, чтобы посмотреть, нет ли среди них моих, но ни одной не нашел; зато здесь были все книги Элроя Кира и множество романов в ярких обложках, которые выглядели подозрительно не тронутыми. Я сообразил, что это книги, которые авторы присылают Дриффилду в знак уважения к его таланту и, может быть, в надежде получить в ответ несколько похвальных слов, которые можно было бы использовать для рекламы. Но все книги были такие новенькие и так аккуратно расставлены, что, по-моему, их читали очень редко. Стоял тут и оксфордский словарь, и полные собрания большинства английских классиков в пышных переплетах – Фиддинг, Босуэлл, Хэзлитт и так далее, и еще много книг о море: я узнал разноцветные тома лондонских адми-

ралтейством. Было еще довольно много книг по садоводству. Комната напоминала скорее не мастерскую писателя, а мемориальный кабинет великого человека; я легко представил себе одинокого туриста, случайно забредшего сюда от нечего делать, и ощутил затхловатый, спертый запах музея, который почти никто не посещает. У меня возникло подозрение, что если сейчас Дрифилд и читает что-нибудь, то это «Альманах садовода» и «Мореходная газета», пачку номеров которой я заметил на столе в углу.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.